

**Жертвы советского террора в прозе Сергея Лебедева
и Николая Кононова: оптика постпамяти***

Анна Разуvalова

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН,
Санкт-Петербург, Россия

**Victims of Soviet Terror in the Prose
of Sergey Lebedev and Nikolay Kononov:
The Prism of Postmemory**

Anna Razuvalova

Institute of Russian Literature (Pushkin House)
of the Russian Academy of Sciences,
St Petersburg, Russia

This article discusses the prose of the Russian writers Sergey Lebedev and Nikolay V. Kononov, who address state terror and violence. The aforementioned authors take into account the experience of the post-Holocaust European culture of remembrance, which is constituted by the figure of the victim and tends to interpret the tragic events of the Soviet past using the concepts and theoretical frameworks of memory and trauma studies. In this article, Lebedev's and Kononov's prose is seen as an integral part of the Russian liberal-oriented memory project, which is based on late-Soviet dissident culture, the perestroika "culture of repentance," and Western cultural models of "working through the past." In rediscovering the topic of Stalinist terror, Lebedev and Kononov reassert its ideological and moral significance and attempt to place it on the current public agenda. Both writers proceed from the need to redress injustices against the victims of state violence, whose suffering was long silenced in the USSR. They work with documents, personal testimonies, and family history to tell stories of victims

* *Citation:* Razuvalova, A. (2021). Victims of Soviet Terror in the Prose of Sergey Lebedev and Nikolay Kononov: The Prism of Postmemory. In *Quaestio Rossica*. Vol. 9, № 4. P. 1332–1352. DOI 10.15826/qr.2021.4.642.

Цитирование: Razuvalova A. Victims of Soviet Terror in the Prose of Sergey Lebedev and Nikolay Kononov: The Prism of Postmemory // *Quaestio Rossica*. Vol. 9. 2021. № 4. P. 1332–1352. DOI 10.15826/qr.2021.4.642 / Разуvalова А. Жертвы советского террора в прозе Сергея Лебедева и Николая Кононова: оптика постпамяти // *Quaestio Rossica*. Т. 9. 2021. № 4. С. 1332–1352. DOI 10.15826/qr.2021.4.642.

missing from the historical record and thus undermine the dominance of the state-supported heroic narrative. Such an approach brings Lebedev and Kononov closer to the tradition of Soviet camp prose, but this was prose of testimony, created by survivors of camps: the modern novelists have no such experience and rely on their imagination, documents, and previous representations of Stalinist terror. They consider the historical experience of state terror and the figure of the victim from the perspective of postmemory (M. Hirsch), which prompts them to postulate the existence of so-called “inherited trauma” and explore its social and emotional consequences in the lives of different generations. Thus, they observe the “post-existence of the GULAG” and paradoxical interactions between victims and perpetrators through the prism of “inherited” trauma and memory.

Keywords: 21st-century Russian literature, victim, perpetrator, postmemory, terror, trauma, Nikolai Kononov, Sergei Lebedev

В статье обсуждается проза Сергея Лебедева и Николая Кононова, которые обращаются к темам государственного террора и насилия. Они учитывают опыт европейской культуры памяти, конституированной после холокоста фигурой жертвы, и склонны интерпретировать трагические события советского прошлого, используя понятия и теоретические фреймы *memory* и *trauma studies*. Проза Лебедева и Кононова рассматривается автором как составная часть российского либерально ориентированного проекта памяти, который наследует позднесоветской диссидентской культуре, перестроечной «культуре покаяния» и западным культурным моделям «проработки прошлого». Переоткрывая тему сталинского террора, писатели заново утверждают ее идеологическую и моральную значимость и пытаются поместить ее в актуальную общественную повестку. Оба исходят из необходимости устранить несправедливость по отношению к жертвам террора, чьи страдания в СССР долгое время замалчивались. Они работают с документами, личными свидетельствами, семейными рассказами, чтобы показать истории жертв, отсутствующие в историческом архиве, и подорвать таким образом доминирование государственного героического нарратива. Подобный подход сближает их с советской лагерной прозой, но та, по мнению автора, была прозой свидетелей, выживших в лагерях, современные же романисты, не имея подобного опыта, опираются на воображение, документы и существующие репрезентации сталинского террора. Исторический опыт государственного террора и фигуру жертвы они воспринимают в перспективе постпамяти (М. Хирш), что побуждает их постулировать существование «унаследованной травмы» и исследовать ее социальные и эмоциональные эффекты в жизни нескольких поколений. Через призму «унаследованных» травмы и памяти они наблюдают «постсуществование ГУЛАГа» и парадоксальное взаимодействие жертв и палачей во времени.

Ключевые слова: русская литература XXI в., жертва, палач, постпамять, террор, травма, Николай Кононов, Сергей Лебедев

«Окончательное решение еврейского вопроса» и огромные потери среди мирного населения во время Второй мировой войны изменили перспективу восприятия катастрофических событий и побудили западное общество обсуждать понятия памяти, вины, ответственности, учитывая точку зрения жертв. После 1945 г., по мнению А. Ассман, рядом с традиционной диадой «победитель – побежденный», подразумевавшей баланс взаимных проявлений агрессии, возникла новая диада «преступник – жертва», фиксирующая асимметричность примененного насилия [Ассман, 2014, с. 113–114]: преступники (perpetrators) подвергали безвинных и практически лишенных возможностей к сопротивлению жертв (victims) психическому и физическому насилию, а затем уничтожали их. Опыт радикальной дегуманизации тех, кто отвечал изобретенным нацистами признакам жертвенного отбора – в данном случае этническим, реконструировал саму семантическую конструкцию «жертвы». На первый план вышли представления о ее пассивности, «коннотируемой с невинностью и чистотой» [Там же, с. 83], о бессмысленном страдании, на которое она обрекалась мучителями. По мере того, как умножались свидетельства «выживших», упразднение субъектности жертв стало интерпретироваться как разрушительный и не всегда поддающийся терапии внутренний опыт, который открывает ранее игнорировавшиеся социальные и философско-антропологические измерения модерности. Для описания экстремального опыта жертвы, пережившей заключенное в шокирующих событиях насилие, «героические формы мемориализации и освоения прошлого» [Там же, с. 76] были уже непригодны. Понадобился новый язык, каковым стал язык травмы. Собственно формирование и распространение в послевоенный период дискурсов, концептуализирующих историю и «негативный исторический опыт» как травму [Махотина, с. 78], были поддержаны, среди прочего, культурной глорификацией жертвы, ее взгляда и переживаний.

Связанное с «изменившейся чувствительностью общества» [Ассман, 2014, с. 176] предпочтение жертвы культурной фигуре героя¹ и сдвиг от сакрифицированного понимания жертвы (согласно ему, жертва (sacrifice) способна утвердить важные для нее ценности и впоследствии стать сакральным символом общности, к которой принадлежала) к виктимизированному (жертва (victim) – существо, лишенное «лиц[а], голос[а], собственного места» [Giesen, p. 53], вытесненное на периферию общества и нуждающееся в универсалистских инстанциях, которые признали бы ее статус [см.: Ibid., p. 51–52, 53]) в послевоенный период оказали серьезное влияние на формы присутствия жертв в публичном пространстве и культурные модели критической «проработки прошлого» [см.: Ассман, 2014, с. 79–80]. Последние исходили из свершившегося

¹ М. Забро полагает, что переход от «миметической культуры гордости к катарсической культуре преодоления», иначе говоря, от героя к жертве, занял 1970–1980-е гг. и, выдвинув напоследок на публичную сцену героические фигуры Че Гевары и Хо Ши Мина, ознаменовал прощение с нацией/народом как коллективным историческим субъектом [Sabrow, S. 15].

факта «преступления», которое нужно осудить, а его последствия для жертв по возможности минимизировать. «Этический поворот» [Ассман, 2014, с. 80] в понимании западным обществом «трудного прошлого» и «эмоциональный поворот», утверждавший особую значимость аффектов и эмпатии в социальных взаимодействиях, в известной степени также были производными от публичной сфокусированности на жертве.

Эти вынужденно краткие замечания о сформировавшейся «в тени холокоста» (А. Руссо) постгероической европейской мемориальной культуре, чей этический пафос, идеологические тренды, институциональное устройство и инструментализация в политических целях обусловлены вниманием к символической фигуре жертвы², были необходимы мне, чтобы обозначить контекст, с оглядкой на который развивается тот проект современной российской культуры памяти, что исходит из представлений о травмирующем характере государственного террора и рассматривает работу с «трудным прошлым» [Эппле, с. 14]³ как ресурс для демократического преобразования общества. Меня будут интересовать литературные тексты, которые продолжают отечественную интеллектуальную традицию «борьбы с беспамятством», но учитывают при этом западный «оздоровительный»⁴ [Платт] и виктимцентричный подход к оценке массового насилия. Именно они, на мой взгляд, идеологически и культурно резонируют с российским либеральным мемориальным проектом 2010-х.

Эстетико-идеологический генезис прозы

Николая Кононова и Сергея Лебедева:

«проработка прошлого», «травма», «постпамять»

Использование тезауруса *memory* и *trauma studies* (прежде всего связки из ключевых концептов «травма», «жертва», «память») характерно для относительно небольшого круга российских авторов. В данной статье он будет представлен Сергеем Лебедевым (р. 1981) и Николаем

² В последние 10–15 лет набирают силу интерес – в рамках *perpetrators studies* – к культурной фигуре палача [см.: Giesen; Crownshaw] и критика тенденций к универсализации виктимной идентичности, которые пока не в состоянии изменить сложившуюся систему приоритетов.

³ Современный российский демократически или либерально ориентированный проект памяти – конструкт, в рамках которого я объединяю позиции акторов, не всегда совпадающих в частностях, но следующих паттернам критической «проработки прошлого» и оспаривающих официальный мемориальный дискурс о государственном терроре (под акторами имеются в виду различные политические партии, активистские организации, авторы персональных медиапроектов и др.). В этом контексте уместно упомянуть резонансное исследование «Преодоление трудного прошлого: сценарий для России», начатое в 2019 г. социологами и историками из МВШСЭН, НИУ ВШЭ, РАНХиГС в партнерстве с благотворительными и культурно-просветительскими фондами. См. дискуссию о проекте и критику западывающего характера некоторых его положений: [Трудная память; Липман].

⁴ Исследователь имеет в виду присущее западным *trauma studies* первого поколения (1990-е гг.) понимание коллективной травмы как «принципиально негативного социального бремени» [Платт], которое можно изжить, переместив травматическое переживание в зону общественной рефлексии.

Кононовым (р. 1980). Они ровесники, обладают сходным культурным бэкграундом, работали и/или продолжают работать в журналистике. Оба в настоящее время живут в Германии и хорошо осведомлены в устройстве европейской «индустрии памяти», на которую, как мне представляется, ориентируются [см.: Хасаиа; Читатель № 24].

За стремлением мыслить себя и свои литературные проекты в обще-европейском культурно-идеологическом контексте различимы важная для самоидентификации этих авторов установка на демонтаж убеждения в «уникальности» советских/российских исторических травм XX в. и одновременно признание многообразия и локальной обусловленности форм проживания «травматического прошлого» [см.: Фанайлова]⁵. В современной России эта дискурсивная стратегия, отражающая ценности и интересы политически маргинализированных групп (часто либеральной и леволиберальной ориентации), оппонирует официальной политике памяти. Это неудивительно, поскольку она, во-первых, наследует памяти о терроре, сформировавшейся в 1960–1980-е гг. в диссидентски-правозащитном сообществе, которое всегда позиционировало себя как альтернативу официальной позиции «замалчивания травмы» массового насилия, во-вторых, варьирует перестроечную идеологию «ликвидации белых пятен истории» и «преодоления тоталитарного прошлого».

Именно вторая, горбачевская (но не первая, хрущевская) десталинизация, обернувшаяся десоветизацией, является фоном для самоопределения Кононова и Лебедева в качестве авторов, работающих с темами террора и памяти о нем. Однако это самоопределение осуществляется через выстраивание дистанции, а не преемственности. Перестроечный опыт разоблачения сталинизма критикуется писателями за эмоциональную экзальтированность и гиперморализм, которым противопоставляются – на мой взгляд, под прямым воздействием немецкого опыта «преодоления прошлого»⁶ – долговременная просветительская работа и реформы институций, отвечающих за историческую память [см.: Друзья]. Кононов и Лебедев в большей мере, чем их предшественники, сфокусированы на причинах «неза-

⁵ «Радио Свобода» внесено Министерством юстиции РФ в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

⁶ В СССР примерно с 1960-х гг. идеи этически ориентированной памяти о преступлениях прошлого обсуждались по преимуществу в связи с Западной Германией. В то время как пропагандистская литература изображала ФРГ очагом возрождающегося неофашизма, фрондистски настроенная интеллигенция западногерманский опыт денацификации, воспринятый через призму непоследовательных хрущевских попыток осудить сталинский террор, оценивала довольно высоко. Однако, отмечает М. Габович, интеллигентские представления о немецком способе «преодоления» тоталитарного прошлого вплоть до 1990-х гг. оставались проекцией внутренних советских дебатов о государственном насилии [см.: Gabowitsch]. Несмотря на то, что в современной России растет осознание разнообразия подходов к осмыслению болезненного исторического опыта, предложенные Германией способы работы с прошлым остаются важным ориентиром для некоторых интеллектуальных групп в бывших странах социалгеяра [см.: Требст]. В отдельных высказываниях Кононова и Лебедева, в целом не склонных идеализировать немецкую мемориальную культуру, также «зашиито» представление о Германии как о ролевой модели [см.: Кононов, 2019b; Сюжеты умолчания].

вершенности»⁷ структурных и этических изменений, которые позволили бы обществу установить контроль над аппаратом насилия. «Незавершенность», соотносимая с «непроработанной» коллективной травмой, понимается ими как препятствие на пути развития страны, а возвращение к разговору о терроре, переставшему быть предметом общественного интереса во второй половине 1990-х, – как способ разобраться с этой травмой [см.: Друзья].

Возобновление разговора о массовом насилии заново ставит и вопрос о том, «кто говорит», побуждая писателей искать аргументы, легитимирующие этическую и эстетическую позицию субъекта, отделенного от условного травмогенного события временной дистанцией: «...как писать о советском терроре из двадцать первого века? Ну вот мы – такие московские мальчишки девяностых. Не свидетели. Имеем право?» [Там же]. Как следствие, реактивация разговора о травме советского террора помещается в теоретическую рамку, где концепции критической «проработки прошлого» взаимодействуют с более поздними объяснительными моделями. Среди последних стоит отметить концепцию постпамяти, к которой отечественные авторы отсылают чаще [см.: «В тоталитарном государстве жертвы выбираются случайно»; Степанова, с. 69–73], нежели к другим вариантам разьяснения преимуществ и ограничений «не-свидетельской» позиции. По словам М. Хирш, разработавшей этот концепт применительно к жертвам холокоста и их потомкам, постпамять – «структура интер- и трансгенерационной передачи травматического знания и опыта» [Hirsch, 2008, p. 106]: она «описывает отношение поколения родившихся позже (generation after) к личным, коллективным и культурным травмам предшественников – к опыту, который они “помнят” только посредством историй, образов и поведения, среди которых выросли» [Hirsch, 2012, p. 5]. Признание того факта, что память «родившихся позже» состоит уже не из катастрофических событий, а из их репрезентаций⁸, порождает специфичный для постпамяти интерес к медиумам травматической трансмиссии (фотографиям, видео, текстам) и ее механизмам, наподобие аффектов и эмпатии. Кононов и Лебедев

⁷ Признание травматичности прошлого и переживание его «незавершенности» как бремени, освободиться от которого можно, покайсявшись и осуществив необходимые политико-правовые процедуры, – топы позднесоветской диссидентской и перестроечной интеллигентской культуры [см.: Иофе, с. 209], частично унаследованные современными российскими либерально и демократически ориентированными проектами памяти.

⁸ Репрезентационную природу постпамяти отмечает Лебедев в «Людах августа» (2016). Его герой, увидевший вагон-рефрижератор с неопознанными телами погибших в первую чеченскую кампанию, выстраивает аналогию с событием, пережитым его бабушкой (в 1921 г., работая санитаркой, она извлекала из вагона убитых и раненых антоновцами), и из этой аналогии возникает формула постпамяти: «Эшелон мертвецов, преломленное его отражение... Для бабушки он был *раной* (курсив мой. – А. Р.), а для меня – уже знаком, образом, напоминанием, ведь явился во второй раз» [Лебедев, 2016, с. 199].

вполне разделяют подобный интерес к формам «вторичной» репрезентации катастрофических событий, но, на мой взгляд, интереснее сближение ими постпамяти как «унаследованной памяти» [Hirsch, 2008, p. 105] и представлений об «унаследованной травме». По мнению С. О'Донахью, отметившего сходный процесс в испанской литературной критике и исторической беллетристике о «травмах» франкистского периода, отождествление постпамяти с «непроработанной», «длящейся» травмой свидетельствует о неверном понимании идей Хирш и об игнорировании оптимистического активистского пафоса ее концепции [см.: O'Donoghue]. Я же склонна, рассматривая российский случай, уделять внимание не точности истолкования работ Хирш, а эффектам, которые извлекают писатели из взаимоналожения представлений о постпамяти и «унаследованной травме». Дело в том, что подобное сближение легитимирует обращение представителей «поколения внуков» к проблематике террора и насилия, имевшей исключительную значимость для инакомыслящей позднесоветской интеллигенции и переутверждаемой Кононовым и Лебедевым в качестве идеологически и морально актуальной в «эпоху постправды» [см.: Кононов, 2019с]⁹. Постпамять, позволяющая рассматривать опыт «родившихся позже» как травматический, закрепляет переход «интерпретативных полномочий» [Ассман, 2016, с. 9] к «московским мальчикам девяностых»: идея пролиферации травмы в жизнь социального коллектива (посредством межпоколенческой передачи) становится для них способом объяснить генеалогию постсоветского общества, его реальную или воображаемую дисфункциональность¹⁰.

О том, что присвоение «интерпретативных полномочий» «поколением внуков» состоялось, свидетельствуют и высказывания писателей, обосновывающие возникновение новых – по сравнению с классикой советской лагерной прозы – ракурсов в теме террора [см.: Кононов, 2016]. Лебедев, например, уверяет, что именно проза «поколения внуков» способна различить в историко-социальной или биографической эмпирике повторы и постоянно воспроизводимые сценарии и таким квазитерапевтическим путем завершить межпоколенческую передачу травмы:

⁹ М. Липман не без оснований считает, что работа с «трудным прошлым» может быть суррогатом политики для групп, исключенных из политической жизни [см.: Трудная память].

¹⁰ Идея о пролонгированном воздействии непроработанной травмы лежит в основе книги А. Эткинды «Кривое горе» (рус. 2016), где психоаналитический инструментарий использован для диагностики (неотличимой от конструирования) «следов» травматического опыта в поздне- и постсоветской памяти. Некоторые образы лебедевских романов (в первую очередь «Предела забвения» (2010)) или «Восстания» (2019) Кононова могли бы стать иллюстрациями к наблюдениям исследователя о посттравматической онтологии и незавершенной работе горя. Однако их проза, дистанцированная от борьбы с «историей», существенно отличается от анализируемой Эткиндою постмодернистской прозы, пытавшейся понять катастрофу советского прошлого, используя средства «магического историзма» [см.: Эткинды, с. 293–295].

Сегодня уже недостаточно прозы Шаламова, Солженицына и других; это проза-свидетельство, но сегодняшний человек отделен от этого свидетельства временем и сменившимися поколениями; и речь должна уже идти не только о непосредственном лагерном опыте, а о том, как этот опыт передается в поколениях, как он сказывается на людях, которые сами никогда за колючей проволокой не были. Необходимо вычлениить, отрефлексировать и описать «ядро» этого уже межпоколенческого опыта, чтобы люди могли как-то распознать в себе эти психологические и метафизические сюжеты, которые в противном случае будут – искажаясь, порождая новые формы – все-таки передаваться как ментальное наследие [Лебедев, 2011].

В результате идеи об «унаследованных» памяти и травме трансформируют сюжет ГУЛАГа в сюжет «постсуществования ГУЛАГа» [Там же], разработку которого Лебедев в интервью 2015 г. считает открытием новой прозы о терроре:

... что происходит с героем Шаламова, когда он возвращается с Колымы домой и там встречает людей, которые писали на него доносы? Что говорит он своей дочери, когда она спрашивает его, где он был с 1937 года по 1953 год? Это фиаско искусства, поскольку общество после ГУЛАГа не стало темой для литературы [цит по: Пилипчук].

Если взглянуть на это высказывание через призму культурных моделей критической «проработки прошлого», то почти полное отсутствие художественных репрезентаций постлагерной жизни условного «героя Шаламова» окажется свидетельством маргинализации точки зрения жертвы, чьи опыт, память о случившемся, новая посттравматическая идентичность остались на периферии общественного внимания. Маргинализация же является симптомом уже упомянутой «незавершенности» «процесса травмы» [Александр, с. 275], который оставил фундаментальные вопросы – о природе боли, природе жертвы, отождествлении широкой аудитории с жертвами и распределении ответственности [см.: Там же, с. 279–283] – без внятных ответов, способных дать импульс структурным и моральным изменениям общества [см.: Там же, с. 255]. В 2010-е гг. Лебедев и Кононов, пытаясь переформатировать коллективную память обращением к «лиминальной фигуре» жертвы [Giesen, p. 1], участвуют в завершении «процесса травмы». Ниже я прочитываю романы Кононова «Восстание» и Лебедева «Предел забвения», «Люди августа», «Гусь Фриц» как попытку достроить (во многом запоздало) виктимологическую перспективу восприятия террора, используя оптику постпамяти и комплекс идей, связанных с «проработкой прошлого». Анализ этих произведений будет предварен кратким обзором культурно-идеологических конвенций, регулировавших в период с оттепели

до перестройки повестку общественных дискуссий о сталинских репрессиях и влиявших на характер литературной репрезентации жертв и преступников.

«Жертва» в советской литературе после 1956 г.: конвенции и их нарушение

Период правления Н. Хрущева можно описать как череду попыток, вызвавших сопротивление власти и просталинских кругов, ввести жертв террора в публичное пространство, дать им голос. Начало процессу «обнаружения» и признания жертв положил закрытый доклад Хрущева XX съезду КПСС (1956), сразу обозначивший привилегированное положение партийных жертв репрессий, которые изображались героическими мучениками [см.: Jones, p. 140]. Включив «избранных» в процессы развенчания культа личности, партия дала им особые полномочия в распространении прогрессивного нарратива¹¹ об эпохе репрессий. Цель его – представить ГУЛАГ трагическим уроком, выучив который, советское общество успешно продолжит движение к коммунистическому будущему. Для воспроизводства прогрессивного нарратива необходимо было, по словам Д. Толчика, «маскировать травму жертв» [цит. по: Jones, p. 136], например, транслируя представления о непреложных законах общественно-исторического развития, идею жертвенного служения революционным идеалам и объяснение массового террора сталинским деспотизмом. Этот дискурс нейтрализовывал травматическое понимание террора и порождает фигуру «нетравмированной» партийной жертвы, с энтузиазмом демонстрировавшей окружающим идеологическую и эмоциональную «неповрежденность» [Ibid., p. 133–140, 151–155].

В публичном пространстве до начала 1960-х истории жертв находились в «полупатентном состоянии» [Jones, p. 141], откуда их вывел XXII съезд КПСС (1961), на котором Хрущев предложил увековечить память жертв репрессий, а первые лица советского государства высказали сочувствие трагическому опыту пострадавших [см.: Ibid., p. 140–144]. В этот период инициатива в обсуждении сталинских репрессий на недолгое время оказалась в руках группы, представители которой обладали необходимым для «процесса травмы» «дискурсивным талантом формулировать свои заявления» [Александр, с. 276]. К ней можно отнести как тех, кто прошли ГУЛАГ и могли быть в юридически точном смысле названы «жертвами репрессий» (А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Гинзбург, Л. Копелев и др.), так и сочувствующих наблюдателей (И. Эренбург). В публичном поле все они ощущали себя голосом погибших в лагерях и подвергшихся депортациям, спец-

¹¹ Как и П. Джонс, я использую терминологию Дж. Александра, объяснявшего превращение холокоста в моральную универсалию конкуренцией прогрессивного и трагического нарративов, которые наделяют это событие разным историческим смыслом и по-разному локализируют его в темпоральной схеме «прошлое – настоящее – будущее» [см.: Александр, с. 127–174].

переселениям, погромным кампаниям, но при этом не признанных государством в качестве пострадавших. Личный и коллективный опыт столкновения с системой политического насилия они считали болезненным, и, описывая его как травматичный, предлагали новые варианты нарративного фреймирования террора. Именно в их произведениях выкристаллизовались две группы мотивов и сюжетных коллизий, связанных с «жертвой» и определивших русло последующей рецепции сталинского террора.

Первая группа организована вокруг феномена «случайной жертвы»¹², «производство» которой А. Солженицын и В. Шаламов считали главным механизмом репрессий. Безвинно репрессированные граждане – «случайные жертвы», будучи «политически невинными» [см.: Бадью, с. 32], не понимали причин собственных злоключений: отсутствие вины и страх лишали их способности сопротивляться. Шаламов видел в этих людях «мучимых жертв» [см.: Шаламов, с. 362]¹³, отличая их как от доходяг, «уделом которых стала голая жизнь и такая же смерть» [Эткинд, с. 119–120], так и от редких персонажей, наподобие «героя-жертвы» майора Пугачева¹⁴; Солженицын же более риторично противопоставлял виктимизированные и сакрифицированные модели жертвы – «кроликов» и «подлинно политических» [Солженицын, с. 30], то есть обретших субъектность в сознательном противостоянии государственному насилию.

Вторая группа мотивов и коллизий связана с рефлексией подвижности границ между жертвой и палачом, свойственной советскому террору. Тут в поле зрения писателей попадали работа репрессивной машины, с легкостью делавшей карающего страдающей жертвой, и «мрачный эгалитаризм сталинских лагерей», где «бьют не Другого... как было в нацистских лагерях», а «того же самого» [Бадью, с. 31]. Некоторых авторов (Е. Гинзбург, Л. Копелева и др.) опыт заключения заставлял проблематизировать тождественность политической идентичности палачей и жертв и долагерную близость их позиций в сложившейся системе власти: нередко внезапное, лежащее вне внятных критериев жертвенного отбора превращение представителей партийной элиты в жертву осмысливалось как спасение от позиционно предзаданной роли палача и своего рода искупление.

¹² Чуть раньше о невинности жертвы как условии ее пассивности, обеспечивающей успешное применение массового политического насилия, писала Х. Арндт в «Истоках тоталитаризма» (1951). Примечательно, что Кононов источником идеи «случайной жертвы», базовой для понимания технологий террора, называет книгу Арндт, а не Шаламова или Солженицына [см.: «В тоталитарном государстве»]. Впоследствии писатель обсуждал феномен «случайной жертвы» в одноименном эссе об истории Колпашевского яра [см.: Кононов, 2019b].

¹³ См. также о смене Шаламовым исторической оптики, позволившей писать историю «от имени побежденных», и осмыслении им мученичества и героизма: [Рыклин; Токер].

¹⁴ В. Есипов возникновение сакрифицированной модели в прозе Шаламова объясняет приверженностью писателя традициям русской радикальной интеллигенции XIX – начала XX в. [см.: Есипов].

Очевидно, появление в публичном поле фигуры жертвы подрывало фундаментальные идеи прогрессивного нарратива о терроре: фактом своего присутствия жертва ставила вопросы, во-первых, о вине и наказании лиц, ответственных за ее нынешнее состояние, во-вторых, об исправлении несовершенного социального порядка, сделавшего возможным массовое появление жертв [см.: Giesen, p. 46, 72]. Оба вопроса были болезненны для власти, потому их обсуждение тщательно регламентировалось и после XXII съезда [см.: Jones, p. 141–142, 153–157]. Смена политического руководства страны и крепнущие просталинские настроения поспособствовали приостановке «работы памяти»¹⁵ в публичной сфере, и ближе к концу 1960-х проблематика террора и судеб его жертв оказалась вытеснена в область неофициальной культуры [см.: Эппле, с. 55–58].

В «долгие 1970-е» моральный долг перед жертвами террора, которые должны быть установлены, погребены и оплаканы или – если они живы – должны получить от государства официальное подтверждение своего статуса, диссиденты считали одним из ведущих мотивов своей гражданской и исследовательской активности [см.: Рогинский]. Он же определил вектор «работы памяти» в горбачевскую перестройку, которая в 1987–1989 гг. вернула вопрос о жертвах сталинского террора в актуальную политическую повестку. Возобновление реабилитационных процессов, оформление новой конструкции коллективной памяти, инициативы проведения процессов наподобие Нюрнбергского [см.: Smith, p. 131] были лишь некоторыми шагами по формированию виктимологического измерения «трудного прошлого». Однако эти шаги не сложились в патронируемую государством внятную мемориальную политику. После распада СССР, вызвавшего у многих россиян чувство, что они стали жертвами исторической катастрофы, обострился вопрос о формировании нового «макрополитического субъекта» и соответствующих нарративов, в центре которых должны находиться позитивный образ нации и героические события [см.: Малинова, с. 143–144]. Идеи «критической проработки» прошлого, сыгравшие большую роль в делегитимации советского режима, по-прежнему продвигались определенными «коалициями общественных сил», но начиная с 2000-х гг. «властвующие элиты», заинтересованные в создании консолидирующего исторического нарратива, апеллировали к ним все реже, а потом и вовсе стали их игнорировать [Там же, с. 144, 149]. Пришедшийся на перестройку и начало 1990-х пафос «преодоления тоталитарного прошлого», опиравшийся на свидетельства жертв террора, не привел к возникновению системного видения причин организованного политического насилия. Постсоветская коллективная память осталась сочувственной

¹⁵ После этого в подцензурной культуре «долгих 1970-х» проблематика жертвы с ее травматическими подтекстами обсуждалась по большей части в связи с опытом Великой Отечественной / Второй мировой войны [см.: Jones], где она также подчинялась идеологическим конвенциям и проходила цензурирование.

по отношению к жертвам, но фрагментированной и слабо озабоченной рефлексией ответственности [см.: Рогинский].

«Жертва» как фигура постпамяти

Работа с коллективной памятью вошла в фазу реактивации в 2010-е гг., период российского «мемориального бума», обострившего вопросы, что и как помнить и чью точку зрения на «трудное прошлое» считать приоритетной. В этих обстоятельствах Кононов и Лебедев выступили наследниками давней идеологической традиции, напоминающей о жертвах, которыми оплачены достижения советского строя. Показательно, что первый лебедевский роман «Предел забвения», восполняющий, с точки зрения автора, крайний дефицит perpetrator fictions в отечественной прозе [см.: Сюжеты умолчания], был повествованием о смене значимых символических фигур, стоящих у истоков индивидуальной и, учитывая метафоричность сюжетообразующей коллизии, коллективной памяти. По ходу сюжета его герой освобождался от нежеланного родства – сначала символического, а потом и кровного – с человеком, которого называл Вторым дедом и который, как выяснялось, был начальником лагеря на севере страны. Путешествие по следам Второго деда в пространство разложившегося ГУЛАГа уподоблялось на мифопоэтическом уровне погружению в ад и возвращению из него, ознаменованному разрывом связи с палачом и установлением связи с его жертвами. Нарисованная в кульминационном эпизоде романа картина – провалившийся в ледовую скважину герой видит не тронутые разложением тела ссыльных и переживает галлюцинаторное воссоединение с теми, кто стали ему «братьями», – нарочито метафорична и материализовала представления об обретении полноты памяти через соприкосновение с ужасом и совершение не совершенных вовремя ритуалов оплакивания жертв.

Незавершенность процесса конструирования «культурной травмы» в 1960-е и перестройку приводит к тому, что писатели «поколения внуков», работающие с темами государственного террора, сталкиваются с проблемами, не решенными на более ранних этапах (установление и признание жертв или распределение ответственности за массовое насилие). Отсюда утверждение Лебедевым «расследовательского» характера своих текстов [см.: Друзья] или стремление Кононова знакомить читателей с теми категориями жертв, чей виктимный статус в советское время был сомнителен или отрицался:

... меня ужасно волнуют отсутствие памяти и недостаточность знания о жертвах – прямых и косвенных – советского режима. Главный герой (в «Восстании». – А. Р.) сталкивается с ними – участниками крестьянских восстаний, депортированными, военнопленными, displaced persons, остарбайтерами. Они не увековечены, забыты, на их месте зияет дыра, откуда дует какой-то потусторонний ветер [Кононов, 2018].

Сильная «расследовательская» интенция новой прозы опосредована оптикой постпамяти, которая задает особый ракурс взгляда на жертвы и может проявляться в формальных характеристиках повествования. В случае Лебедева свойственный концепции постпамяти и – шире – современной виктимно-ориентированной культуре эмпатичный подход к субъекту, проживающему эмоционально тяжелый опыт, сказывается в предпочтении эмоционально щадящих, «терапевтических» нарративных структур. Опирающиеся на мифологические паттерны «испытаний», «смерти и возрождения», они контрастируют с максимализмом перестроечных стратегий нарративизации исторического опыта и самим Лебедевым опознаются как нехарактерные для отечественной литературы о терроре:

...Эта книга («Предел забвения». – А. Р.) – нерусская в том смысле, что русские книги по всей этой теме в целом обычно не дают выхода. Повествование заканчивается на какой-то высоте страданий, и героям, как и читателям, приходится с этим жить. Это остается навсегда. А у меня есть выход: ты что-то прожил, что-то понял и этим пониманием избываешь страдания до конца [Сюжеты умолчания].

Ниже я поясню тезис о влиятельности оптики постпамяти и проиллюстрирую его примерами из романов обоих писателей.

Первое, на что следует обратить внимание, – осознание современными авторами невозможности выстроить такую перспективу восприятия «трудного прошлого», в которой жертвы были бы раз и навсегда отделены от преступников. Идея проницаемости границ между преступниками и жертвами, не раз обсуждавшаяся в каноне лагерной прозы, теперь прочитывается через призму состоявшегося сближения их потомков:

У Галича есть песня про то, как в больничной палате оказываются бывший заключенный и бывший его охранник; песня заканчивается словами: «И сынок мой по тому же снежочку провожает вертухаеву дочку». Для Галича здесь история заканчивается, это финал, а для современной прозы она должна только начинаться, потому что в ее поле зрения должны оказаться уже... дети или внуки этой пары... их возможное первооткрывательство в отношении прошлого [Лебедев, 2011].

Для обоих авторов процитированная строка из песни А. Галича «Желание славы» (1967) становится формулой «инклюзивной памяти» [Эппле, с. 102], позволяющей потомкам палачей проговорить свою связь с предшествующим поколением «в рамках дискурса памяти о жертвах» и установить «связь с общим прошлым, перестать быть выключенным из него» [Там же]. В повлиявших на писателей концепциях «проработки прошлого» инклюзивная память знаменует переход к этапу гражданского примирения, едва ли принимавшемуся в расчет предшествующей традицией советской прозы о терроре.

С моей точки зрения, идея примирения повлияла на характер нарративизации Кононовым жизненной истории Сергея Соловьева – участника Норильского восстания и идеолога созданной в лагере Демократической партии России¹⁶, чья судьба подрывает устоявшиеся дефиниции «жертв» и «героев» [см.: Кувалдин]. Соловьев – почти эмблематичная жертва двух типов тоталитаризма, не имеющая шансов избежать их репрессивного воздействия, постоянно находящаяся в зоне «встречного пала» [Кононов, 2019а, с. 108]. Но стремлению сталинского и нацистского государства превратить его в пассивную жертву герой сопротивляется, противопоставляя рациональности машин уничтожения и этике выживания логику «заведомо проигрышной» игры [Там же, с. 126], иррационального поступка, взламывающего императивы подчинения. Такое сопротивление не переводит его в разряд «героев», но отличает от вереницы изображенных в «Восстании» классических виктимизированных жертв – «невинных, вовсе не прикасавшихся к оружию и все равно угодивших в перемалывающие все подряд челюсти» [Там же, с. 137].

Кульминацией желая Соловьева преодолеть объектное/жертвенное состояние и стать субъектом хотя бы в ограниченном пространстве конкретного поступка становятся его участие в Норильском восстании и побег из лагеря на прииске Холодный. В обоих случаях герой, как и олицетворяемое им сообщество восставших жертв, терпит поражение, но становится настоящим «политическим», решившимся на сознательный протест. Автор предлагает такую мотивировку поступков героя, которая не позволяет отнести его и к сакрифицированным жертвам: в «восстании» Соловьева нет жертвенного или искупительного смысла; движущими мотивами оказываются скорее экзистенциалистски понимаемые отчаяние и несогласие как условие самоосуществления в обстоятельствах, когда другие формы самоосуществления невозможны. Экзистенциалистская универсализующая, то есть снимающая референции к националистическому или государственно-идеологическому дискурсу мотивировка «восстания» апеллирует к «внеидеологической» сущности человека, его моральному чувству и представлениям о человеческом достоинстве¹⁷. В сходной логике политическое высказывание Соловьева – написанная им партийная программа – апеллирует к ценностям, которые Кононов считает общими для разделенных враждой групп (автономия индивида по отношению к государству, свобода, гражданское участие и солидар-

¹⁶ Собирая в архивах материал о Норильском восстании (1954), Кононов заинтересовался одним из его участников, Сергеем Соловьевым (1916–2009), чья уникальная и одновременно типичная биография вместила в себя войну, плен, недолгое членство в Русской национальной народной армии, заключение в нацистских и советских лагерях, побег из них, участие в лагерном восстании. В итоге именно об этом персонаже Кононов написал документальный роман, избрав вызвавшую споры форму повествования от первого лица [см.: Кононов, 2019а, с. 6].

¹⁷ Этико-психологические параллели такой позиции можно найти в прозе В. Шаламова.

ность). Примечательно, что в моделирующих ситуацию примирения дискуссиях в Норильлаге враждовавшие этнические и социальные группы прежде всего проясняют то, на каких основаниях возможно их мирное сосуществование после падения режима, и вопрос о соотношении вины и ответственности за участие в насилии¹⁸.

Равнодушие к перспективе примирения обнаруживает Лебедев в перестроечной «культуре покаяния» и «демократической революции» 1990-х, которые становятся объектом критики в «Людах августа». Субъектность главного героя – типичного демократа конца 1980-х – начала 1990-х, выступающего на стороне «искалеченных и замученных» [Лебедев, 2016, с. 142], сформирована советскими навыками конструирования Другого как врага, что дискредитирует морально безупречную позицию защитника жертв террора, легко переходящего в своем возмущении попытками коммунистического реванша к расчеловечиванию ностальгирующих по СССР соотечественников [см.: Там же, с. 142–144]. В 1990-е, согласно Лебедеву, продолжали действовать возникшие в советский период структуры насилия (не столько институты, сколько структуры социального и эмоционального опыта), обеспечившие воспроизведение прежних коллизий противоборства и сотрудничества палачей и жертв.

Интерес к непреднамеренному взаимодействию жертв и палачей и техникам адаптации к постоянной угрозе насилия со стороны государства – второе следствие взгляда на «трудное прошлое» через призму постпамяти. Тот же Лебедев пристально реконструирует способы адаптации предшествующих поколений к жизни в режиме «дезаурирования травмы» [Platt, p. 669]¹⁹: речь о «языке, на котором молчат» [Лебедев, 2016, с. 7], и о существовании с «символическими замещающими фигурами», то есть с неким зиянием там, где должна

¹⁸ За оспаривающим героическую и расшатывающим стандартную виктимную парадигму жизнеописанием Соловьева и атрибутированной ему автором демократической консолидирующей политической ориентацией угадываются контуры исторического нарратива, который стал формироваться в начале 1990-х, но остался во фрагментированном состоянии. По словам О. Малиновой, он базировался на новой конструкции преемственности, которая трактовала советский проект как «трагедию», где были «и трагические, и славные, и романтические страницы», и связывала «трудное прошлое» с настоящим и будущим через идею его критического переосмысления [Политика памяти]. Тогда либеральную версию российского «мемориального бума» 2010-х можно описать как деархивацию дискурсов перестройки и начала 1990-х, поскольку именно там современные авторы находят более гибкие и согласующиеся с общеевропейской мемориальной культурой формы.

¹⁹ К. Платт оговаривает характерные для *trauma studies* сложности, связанные с переносом на коллектив метафор, описывающих индивидуальный опыт, однако мне интересен отразившийся в его статьях типологический сдвиг в исследованиях травмы, а именно произошедшее не без влияния конструктивизма Дж. Александера смещение аналитического фокуса на преобразование социальными институтами индивидуального травматического опыта, на социально-дискурсивные механизмы создания консенсуса между палачами и жертвами, отделявшего их от нарушителей ритуала молчания и делавшего членами позднесоветского «политического единства» [Platt, p. 674]. Этот подход дает инструментарий для анализа массива литературы *the second / third generation memory*.

быть вербализованная и вписанная в структуры семейной истории память о близких, ставших жертвами террора [Друзья]. Герой «Людей августа» сначала на примере собственной семьи исследует стратегии, к которым прибегала потенциальная жертва, чтобы избежать грозившей ей участи (так, его бабушка, «боявшаяся секретных служб», сама «стала частью секретной службы» [Лебедев, 2016, с. 65]), а затем наблюдает иронию истории, обратившую социальную роль жертвы в поколении отцов в социальную роль палача в поколении детей (линия отца и сына Горюевых – жертвы репрессий и вихровца).

Наконец, из осмысления эмоциональной, антропологической и дискурсивной зависимости «родившихся позже» от виктимного опыта предшествующих поколений возникает еще одна типологически значимая тема – наследование жизненных сценариев жертвы. Наиболее обстоятельным высказыванием на этот счет является роман Лебедева «Гусь Фриц», герой которого профессиональный историк Кирилл узнает от бабушки, что принадлежит к жившему в России с 30-х гг. XIX в. старому немецкому роду, почти полностью сгинувшему в исторических катаклизмах XX в. «именно потому, что носили фамилию Швердт» [Лебедев, 2018, с. 70]. Большая часть романного пространства отведена под описание исторических хитросплетений, которые приводят российских Швердтов в смертельные для них обстоятельства, но герой, не удовлетворенный знанием эмпирики произошедшего, хочет рассмотреть за обилием биографических деталей контуры общего сюжета, превратившего его родственников в жертв государства и истории. С этой целью он реконструирует «жертвенный архетип» – прообраз антинемецкой истерии, идеально воплотившийся в деле полковника Мясоедова, казненного в 1915 г. по обвинению в шпионаже в пользу Германии. В данном случае несущественно, насколько исторически убедительно стремление объяснить «шпиономанией последних лет империи» сталинское «безумие взаимного доносительства» [Там же, с. 224], важнее сфокусированность авторского воображения на ситуации встречи с травматичным прошлым и освобождения от его деформирующего воздействия. Кирилл воспринимает жертвенный архетип как дискурсивное воплощение репрессивного социального механизма, вменяющего судьбу и идентичность жертвы всем представителям «обреченного» рода. Однако в процессе работы над книгой, проживая судьбы предков и постигая логику политического превращения в жертву, он осознает собственную свободу и возможность ускользнуть от судьбы, как бы навязанной ему принадлежностью к роду Швердтов. Этот сюжетно-риторический поворот, связанный со способностью героя выскочить из «ловушки идентичности» [Там же, с. 120], лежит в русле характерных для Лебедева попыток разнообразить спектр идентификационных моделей, которыми могли бы оперировать потомки палачей и жертв, создать новые структуры самопонимания, наконец, сепарироваться от «трудного прошлого», сохраняя эмпатическую связь с пострадавшими.

Современная российская литература о терроре, помещающая себя в координаты общеевропейского пространства памяти и оснащенная новыми теоретическими подходами, рассказывает о жертвах государственного насилия, представляя их в двойственном освещении – как персонажей реконструируемых исторических сюжетов («Восстание» Кононова) и как фигуры памяти (романы Лебедева), то есть результат дискурсивной работы. Хорошо понимающая ограничения и преимущества, свойственные позиции «поколения постпамяти», эта литература продолжает начатый в лагерной прозе 1960–1970-х анализ проницаемости границ между жертвами и преступниками, но расширяет временные рамки исследования, варьируя программную для демократически и либерально ориентированных проектов памяти идею о пролонгированном характере воздействия массового насилия на последующие поколения и оспаривая приоритет триумфаторского исторического нарратива.

Список литературы

Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культуросоциология. М. : Праксис, 2013. 640 с.

Ассман А. Длинная тень прошлого : Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое лит. обозрение, 2014. 328 с.

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М. : Новое лит. обозрение, 2016. 232 с.

Бадью А. Мета/Политика : Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М. : Логос, 2005. 240 с.

«В тоталитарном государстве жертвы выбираются случайно» : Николай В. Кононов о «Восстании», скелетах в шкафу и изучении смерти // Bookmate J. : [сайт]. 2019. 5 нояб. URL: <https://bmjournal.ru/kononov> (дата обращения: 31.05.2021).

Друзья : Николай В. Кононов – Сергей Лебедев // Colta.ru : [официальный сайт]. 2016. 21 дек. URL: <https://www.colta.ru/articles/society/13431-druzya-nikolay-v--kononov-sergey-lebedev> (дата обращения: 31.05.2021).

Есипов В. Традиции русского Сопrotивления // Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда : Изд-во ин-та повышения квалификации и переподготовки пед. кадров, 1994. С. 183–194.

Иофе В. В. Границы смысла. СПб. : Норд-Вест, 2003. 376 с.

Кононов Н. Главным трендом 2017 года будет, конечно, пересборка памяти // Facebook : [социальная сеть]. 2016. 19 дек. URL: <https://www.facebook.com/nickolay.kononov/posts/10211647534249994> (дата обращения: 12.05.2021).

Кононов Н. Закончился эксперимент в два года длиной // Facebook : [социальная сеть]. 2018. 21 нояб. URL: <https://www.facebook.com/nickolay.kononov/posts/10218168762036613> (дата обращения: 12.05.2021).

Кононов Н. Восстание. М. : Новое изд-во, 2019а. 310 с.

Кононов Н. Случайная жертва // Сеанс : [сайт]. 2019б. 6 дек. URL: <https://seance.ru/articles/sluchajnaaya-zhertva-neurokoennaaya-pravda/> (дата обращения: 12.05.2021).

Кононов Н. Как призраки прошлого пожирают будущее (и технологии им помогают) // Digger : [сайт]. 2019с. URL: <https://www.digger.ru/tech/kolonka> (дата обращения: 12.05.2021).

Кувалдин С. Судьба человека : О документальном романе Николая В. Кононова «Восстание» // Сноб : [сайт]. 2018. 10 дек. URL: <https://snob.ru/entry/169365/> (дата обращения: 31.05.2021).

Лебедев С. Путешествие за край памяти // Первое сентября : [сайт]. 2011. № 21. URL: <https://ps.lsept.ru/article.php?ID=201102127> (дата обращения: 31.05.2021).

- Лебедев С.* Люди августа. М. : Интеллект. лит., 2016. 272 с.
- Лебедев С.* Гусь Фриц. М. : Время, 2018. 384 с.
- Липман М.* Коллективное раскаяние? Кого и перед кем? // Colta.ru : [сайт]. 2020. 16 янв. URL: <https://www.colta.ru/articles/society/23355-mariya-lipman-ob-issledovanii-preodolenie-trudnogo-proshlogo-stsenarij-dlya-rossii> (дата обращения: 12.05.2021).
- Малинова О.* Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России : от 1990-х к 2010-м годам // Полит. исслед. 2016. № 6. С. 139–158. DOI 10.17976/jpps/2016.06.10.
- Махотина Е.* Нарративы музезализации, политика воспоминаний, память как шоу : Новые направления memory studies в Германии // Методологические вопросы изучения политики памяти / под ред. А. Миллера, Д. Ефременко. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. С. 75–92.
- Пилипчук И.* Сталин сажал людей толпами, а Путину достаточно посадить одного // Die Welt : [сайт]. 2015. 31 окт. URL: <https://inosmi.ru/world/20151031/231089724.html> (дата обращения: 19.05.2021).
- Платт К. М. Ф.* «Дом на набережной» Ю. В. Трифонова и позднесоветская память о сталинском политическом насилии : дезавуирование и социальная дисциплина // Новое лит. обозрение. 2019. № 155 (1). С. 229–245.
- Политика памяти в России: «вспомнить все»? Беседа с Ольгой Малиновой // Гефтер : [сайт]. 2015. 2 дек. URL: <http://gefter.ru/archive/16810> (дата обращения: 12.05.2021).
- Рогинский А.* Память и свобода, или Как много прошлого существует в России : выступление в Берлине в Renaissance-Theater 23 января 2011 // 1917–1991 : [сайт]. URL: http://www.1917-1991.org/m/pdf/Arsenij%20Roginskij%20_%20Erinnerung%20und%20Freiheit%20_%20russisch.pdf (дата обращения: 31.05.2021).
- Рыклин М.* Лагерь и война : История побежденных от Варлама Шаламова // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории / ред.-сост. С. Соловьев. М. : Литера, 2013. С. 301–308.
- Солженицын А. И.* Архипелаг ГУЛАГ : Опыт художественного исследования : в 3 кн. Екатеринбург : У-Фактория, 2006. Кн. 1 (ч. 1–2). 552 с.
- Степанова М.* Памяти памяти. М. : Новое изд-во, 2018. 408 с.
- Сюжеты умолчания в Германии и России, или Немецкий успех Сергея Лебедева // Deutsche Welle : [сайт]. 2013. 23 окт. URL: <https://p.dw.com/p/19zcy> (дата обращения: 12.05.2021).
- Токер Л.* Пересмотр понятия «героизм» в рассказах Шаламова // Закон сопротивления распаду : Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Прага ; М. : Нац. б-ка Чеш. Республики, 2017. С. 69–77.
- Требст Ш.* «Какой такой ковер?» : Культура памяти в посткоммунистических обществах Восточной Европы // Ab Imperio. 2004. № 4. С. 41–78.
- Трудная память : сценарий для России // Фонд Егора Гайдара : [официальный канал]. 2020. 16 июня. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=y6JNwWKZiI8> (дата обращения: 13.05.2021).
- Фанайлова Е.* «Память, говори» (беседа с М. Степановой и С. Лебедевым) // Радио Свобода : [сайт]. 2018. 19 апр. URL: <https://www.svoboda.org/a/29166227.html> (дата обращения: 29.07.2021).
- Хасаина Х.* Писатель Сергей Лебедев об ответственности за прошлое и современной России // SovaNews : [сайт]. 2019. 26 июня. URL: <https://sova.news/2019/06/26/pisatel-sergej-lebedev-ob-otvetstvennosti-za-proshloe-i-sovremennoj-rossii> (дата обращения: 30.05.2021).
- Читатель № 24 : Николай Кононов // Pod.FM : [сайт]. 2018. 26 нояб. URL: <https://podfm.ru/episodes/chitatel-24-nikolaj-v-kononov/> (дата обращения: 29.05.2021).
- Шаламов В. Т.* Собрание сочинений : в 6 т. М. : Книж. клуб Книгобек, 2013. Т. 1. 672 с.
- Эплле Н.* Неудобное прошлое : Память о государственных преступлениях в России и других странах. М. : Новое лит. обозрение, 2020. 576 с.
- Эткинд А.* Кривое горе : Память о непогребенных. М. : Новое лит. обозрение, 2016. 328 с.

- Crownshaw R. Perpetrator Fictions and Transcultural Memory // *Parallax*. Vol. 17. 2011. № 4. P. 75–89. DOI 10.1080/13534645.2011.605582.
- Gabowitsch M. Foils and Mirrors : The Soviet Intelligentsia and German Atonement // *Replicating Atonement. Foreign Models in the Commemoration of Atrocities* / ed. by M. Gabowitsch. Cham : Palgrave Macmillan, 2017. P. 267–302. DOI 10.1007/978-3-319-65027-2_11.
- Giesen B. Triumph and Trauma. Boulder ; Colorado ; L. : Paradigm Publ., 2004. 208 p.
- Hirsch M. The Generation of Postmemory // *Poetics Today*. Vol. 29. 2008. № 1. P. 103–128. DOI 10.1215/03335372-2007-019.
- Hirsch M. The Generation of Postmemory : Writing and Visual Culture after the Holocaust. N. Y. : Columbia Univ. Press, 2012. 305 p.
- Jones P. Myth, Memory, Trauma : Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union, 1953–1970. N. Haven : Yale Univ. Press, 2013. 360 p.
- O'Donoghue S. Postmemory as Trauma? Some Theoretical Problems and Their Consequences for Contemporary Literary Criticism // *Politika.io* : [website]. 2018. URL: <https://www.politika.io/en/notice/postmemory-as-trauma-some-theoretical-problems-and-their-consequences-for-contemporary> (accessed: 31.05.2021).
- Platt K. M. F. Secret Speech: Wounding, Disavowal, and Social Belonging in the USSR // *Critical Inquiry*. Vol. 42. 2016. No. 3. P. 647–676.
- Sabrow M. Heroismus und Viktimismus : Überlegungen zum deutschen Opferdiskurs in historischer Perspektive // *Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien*. 2008. № 43–44. S. 7–20.
- Smith K. E. Remembering Stalin's Victims : Popular Memory and the End of the USSR. Ithaca, L. : Cornell Univ. Press, 1996. 219 p.

References

- Alexander, J. (2013). *Smysly sotsial'noi zhizni: kul'tursotsiologiya* [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology]. Moscow, Praxis. 640 p.
- Assmann, A. (2014). *Dlinnaya ten' proshlogo. Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 328 p.
- Assmann, A. (2016). *Novoe nedovol'stvo memorial'noi kul'turoi* [Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 232 p.
- Badiou, A. (2005). *Meta/Politika. Mozhno li myslit' politiku? Kratkii traktat po metapolitike* [Peut-on penser la politique? Abrégé de métapolitique]. Moscow, Logos. 240 p.
- Chital' No. 24. Nikolai Kononov [Reader No. 24. Nikolai Kononov]. (2018). In *Pod.FM* [website]. Nov. 26. URL: <https://podfm.ru/episodes/chital'24-nikolaj-v-kononov/> (accessed: 29.05.2021).
- Crownshaw, R. (2011). Perpetrator Fictions and Transcultural Memory. In *Parallax*. Vol. 17. No. 4, pp. 75–89. DOI 10.1080/13534645.2011.605582.
- Druz'ya. Nikolai V. Kononov – Sergei Lebedev [Friends. Nikolai V. Kononov – Sergey Lebedev]. (2016). In *Colta.ru* [website]. Dec. 21. URL: <https://www.colta.ru/articles/society/13431-druzya-nikolay-v-kononov-sergey-lebedev> (accessed: 31.05.2021).
- Epple, N. (2020). *Neudobnoe proshloe. Pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh* [An Inconvenient Past. The Memory of State Crimes in Russia and Other Countries]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 576 p.
- Esipov, V. (1994). Traditsii russkogo Soprotivleniya [Traditions of Russian Resistance]. In *Shalamovskii sbornik*. Iss. 1. Vologda, Izdatel'stvo instituta povysheniya kvalifikatsii i perepodgotovki pedagogicheskikh kadrov, pp. 183–194.
- Etkind, A. (2016). *Krivoie gore. Pamyat' o nepogrebennykh* [Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 328 p.
- Fanailova, E. (2018). “Pamyat', govori” (beseda s M. Stepanovoi i S. Lebedevym) [Speak, Memory (An Interview with M. Stepanova and S. Lebedev)]. In *Radio Svoboda* [website]. Apr. 19. URL: <https://www.svoboda.org/a/29166227.html> (accessed: 29.07.2021).
- Gabowitsch, M. (2017). Foils and Mirrors: The Soviet Intelligentsia and German Atonement. In Gabowitsch, M. (Ed.). *Replicating Atonement. Foreign Models in the*

Commemoration of Atrocities. Cham, Palgrave Macmillan, pp. 267–302. DOI 10.1007/978-3-319-65027-2_11.

Giesen, B. (2004). *Triumph and Trauma*. Boulder, Colorado, L., Paradigm Publ. 208 p.

Hirsch, M. (2008). The Generation of Postmemory. In *Poetics Today*. Vol. 29. No. 1, pp. 103–128. DOI 10.1215/03335372-2007-019.

Hirsch, M. (2012). *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust*. N. Y. : Columbia Univ. Press. 305 p.

Iofe, V. V. (2003). *Granitsy smysla* [The Limits of Meaning]. St Petersburg, Nord-Vest. 376 p.

Jones, P. (2013). *Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union, 1953–1970*. N. Haven, Yale Univ. Press. 360 p.

Khasaia, Kh. (2019). Pisatel' Sergei Lebedev ob otvetstvennosti za proshloe i sovremennoi Rossii [The Writer Sergei Lebedev on Responsibility for the Past in Modern Russia]. In *Sova.News* [website]. June 26. URL: <https://sova.news/2019/06/26/pisatel-sergei-lebedev-ob-otvetstvennosti-za-proshloe-i-sovremennoj-rossii> (accessed: 30.05.2021).

Kononov, N. (2016). Glavnym trendom 2017 goda budet, konechno, peresborka pamyati [The Main Trend in 2017 Will Be Memory Reconfiguration]. In *Facebook* [website]. Dec. 19. URL: <https://www.facebook.com/nickolay.kononov/posts/10211647534249994> (accessed: 12.05.2021).

Kononov, N. (2018). Zakonchilsya eksperiment v dva goda dlinoi [The Two-Year Experiment Is Over]. Nov. 21. In *Facebook* [website]. URL: <https://www.facebook.com/nickolay.kononov/posts/10218168762036613> (accessed: 12.05.2021).

Kononov, N. (2019a). *Vosstanie* [The Uprising]. Moscow, Novoe izdatel'stvo. 310 p.

Kononov, N. (2019b). Sluchainaya zhertva [A Random Victim]. In *Seans* [website]. Dec. 6. URL: <https://seance.ru/articles/sluchajnyaya-zhertva-neupokoennaya-pravda/> (accessed: 12.05.2021).

Kononov, N. (2019c). Kak prizraki proshlogo pozhirayut budushchee (i tekhnologii im pomogayut) [How Ghosts of the Past Devour the Future (and Technologies Help Them)]. In *Digger* [website]. URL: <https://www.digger.ru/tech/kolonka> (accessed: 12.05.2021).

Kuvaldin, S. (2018). Sud'ba cheloveka. O dokumental'nom romane Nikolaya V. Kononova "Vosstanie" [The Fate of a Man. On Nikolai V. Kononov's Documentary Novel]. In *Snob* [website]. Dec. 10. URL: <https://snob.ru/entry/169365/> (accessed: 31.05.2021).

Lebedev, S. (2011). Puteshestvie za krai pamyati [Journey over the Edge of Memory]. In *Pervoe sentyabrya* [website]. No. 21. URL: <https://ps.1sept.ru/article.php?ID=201102127> (accessed: 31.05.2021).

Lebedev, S. (2016). *Lyudi avgusta* [People of August]. Moscow, Intellektual'naya literatura. 272 p.

Lebedev, S. (2018). *Gus' Frits* [The Children of Kronos]. Moscow, Vremya. 384 p.

Lipman, M. (2020). Kollektivnoe raskayanie? Kogo i pered kem? [Collective Remorse. Whose and to Whom?]. In *Colta.ru*. [website]. Jan. 16. URL: <https://www.colta.ru/articles/society/23355-mariya-lipman-ob-issledovanii-preodolenie-trudnogo-proshlogo-stsenariy-dlya-rossii> (accessed: 12.05.2021).

Makhotina, E. (2018). Narrativy muzealizatsii, politika vospominanii, pamyat' kak shou. Noveye napravleniya memory studies v Germanii [Narratives of Musealisation, the Politics of Memory, Memory as a Show. New Directions of Memory Studies in Germany]. In Miller, A., Efremenko, D. (Eds.). *Metodologicheskie voprosy izucheniya politiki pamyati*. Moscow, St Petersburg, Nestor-Istoriya, pp. 75–92.

Malinova, O. (2016). Ofitsial'nyi istoricheskii narrativ kak element politiki identichnosti v Rossii: ot 1990-kh k 2010-m godam [The Official Historical Narrative as an Element of Identity Politics in Russia: From the 1990s to the 2010s]. In *Politicheskie issledovaniya*. No. 6, pp. 139–158. DOI 10.17976/jpps/2016.06.10.

O'Donoghue, S. (2018). Postmemory as Trauma? Some Theoretical Problems and Their Consequences for Contemporary Literary Criticism. In *Politika.io* [website]. URL: <https://www.politika.io/en/notice/postmemory-as-trauma-some-theoretical-problems-and-their-consequences-for-contemporary> (accessed: 31.05.2021).

Pilipchuk, I. (2015). Stalin sazhal lyudei tolpami, a Putinu dostatochno posadit' odnogo [Stalin Used to Imprison a Great Bulk of People while Putin Only Needs to Imprison One]. In *Die Welt* [website]. Oct. 31. URL: <https://inosmi.ru/world/20151031/231089724.html> (accessed: 19.05.2021).

Platt, K. M. F. (2019). "Dom na naberezhnoi" Yu. V. Trifonova i pozdnesovetskaya pamyat' o stalinskom politicheskom nasilii: dezavuirovaniye i sotsial'naya distsiplina [Yuri Trifonov's *The House on the Embankment* and the Late Soviet Memory of Stalinist Violence: Disavowal and Social Discipline]. In *Novoe literaturnoe obozrenie*. Vol. 155 (1), pp. 229–245.

Platt, K. M. F. (2016). Secret Speech: Wounding, Disavowal, and Social Belonging in the USSR. In *Critical Inquiry*. Vol. 42, pp. 647–676.

Politika pamyati v Rossii: "vspomnit' vse?" Beseda s Ol'gai Malinovoi [The Politics of Memory in Russia: "Total Recall?": An Interview with Olga Malinova]. (2015). In *Gefter* [website]. Dec. 2. URL: <http://gefeter.ru/archive/16810> (accessed: 12.05.2021).

Roginskii, A. (2011). Pamyat' i svoboda, ili Kak mnogo proshlogo sushchestvuet v Rossii. Vystuplenie v Berline v *Renaissance Theater* 23 yanvarya 2011 [Memory and Freedom, or How Much of the Past there is in Russia. A Speech at the *Renaissance Theatre* in Berlin on 23 January 2011]. In *1917–1991* [website]. URL: http://www.1917-1991.org/m/pdf/Arsenij%20Roginskij%20_%20Erinnerung%20und%20Freiheit%20_%20russisch.pdf (accessed: 31.05.2021).

Ryklin, M. (2013). Lager' i voina. Istoriya pobezhdennykh ot Varlama Shalamova [The Camp and the War. A History of the Defeated from Varlam Shalamov]. In Solov'ev, S. (Ed.). *Varlam Shalamov v kontekste mirovoi literatury i sovetskoj istorii*. Moscow, Litera, pp. 301–308.

Sabrow, M. (2008). Heroismus und Viktimismus. Überlegungen zum deutschen Opferdiskurs in historischer Perspektive. In *Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien*. № 43–44, S. 7–20.

Shalamov, V. T. (2013). *Sobranie sochinenii v 6 t.* [Collected Works. 6 Vols.]. Vol. 1. Moscow, Knizhnyi klub Knigovok. Vol. 1. 672 p.

Smith, K. E. (1996). *Remembering Stalin's Victims: Popular Memory and the End of the USSR*. Ithaca, L., Cornell Univ. Press. 219 p.

Solzhenitsyn, A. I. (2006). *Arkipelag GULAG. Opyt khudozhestvennogo issledovaniya v 3 kn.* [The Gulag Archipelago. An Experiment in Literary Investigation. 3 Books]. Yekaterinburg, U-Faktoriya. Book 1 (Part 1–2). 552 p.

Stepanova, M. (2018). *Pamyati pamyati* [In Memory of Memory]. Moscow, Novoe izdatel'stvo. 408 p.

Syuzhety umolchaniya v Germanii i Rossii, ili Nemetskii uspek Sergeya Lebedeva [Plots of Silence in Germany and Russia, or Sergey Lebedev's German Success]. (2013). In *Deutsche Welle* [website]. Oct. 23. URL: <https://p.dw.com/p/19zcy> (accessed: 12.05.2021).

Toker, L. (2017). Peresmotr ponyatiya "geroizm" v rasskazakh Shalamova [The Revision of the Concept of Heroism in Shalamov's Stories]. In *Zakon soprotivleniya raspadu. Osobennosti prozy i poezii Varlama Shalamova i ikh vospriyatye v nachale XXI veka*. Prague, Moscow, Natsional'naya biblioteka Cheshskoi Respubliki, pp. 69–77.

Troebst, S. (2004). "Kakoi takoi kover?". Kul'tura pamyati v postkommunisticheskikh obshchestvakh Vostochnoi Evropy ["What Kind of Carpet?": Post-Communist Cultures of Memory in East Central Europe]. In *Ab Imperio*. No. 4, pp. 41–78.

Trudnaya pamyat': stsenarii dlya Rossii [Difficult Memories: Scenarios for Russia]. (2020). In *Fond Egora Gaidara* [official channel]. June 16. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=y6JNwWKZli8> (accessed: 13.05.2021).

"V totalitarnom gosudarstve zhertvy vybirayutsya sluchaino". Nikolai V. Kononov o "Vosstanii", skeletakh v shkafu i izuchenii smerti ["In a Totalitarian State, Victims Are Chosen at Random". Nikolai V. Kononov on *The Uprising*, Skeletons in the Cupboard, and Death Studies]. (2019). In *Bookmate J.* [website]. Nov. 5. URL: <https://bmjournal.ru/kononov> (accessed: 31.05.2021).

The article was submitted on 05.06.2021